

Природа неподвижности российского общества

Можно ли рассчитывать, что социальные процессы, идущие в России, в перспективе создадут спрос на создание сообществ и окажут влияние на эволюцию российского государства | **САМЮЭЛЬ ГРИН**

Поразительно, до какой степени современные дискуссии о России обходят стороной проблемы российского общества¹. Конечно, это справедливо не для всех и не всегда — нельзя сказать, что общественный фактор отсутствует во всех без исключения работах. В частности, историки культуры уже давно изучают эволюцию институтов, которые лежат в основе социальных отношений, — что в этой сфере подверглось радикальному демонтажу, а что частично сохранилось. Кроме того, распад Советского Союза вызвал новую волну интереса к давно известным проблемам российского общества. Однако трудности постсоветского развития и провал «демократизации» в России побудили многих изъять общество из целостной картины. Общественные факторы, которые, возможно, стали причиной возвращения России к авторитарной системе, казались полностью predeterminedенными; считалось, что они являются настолько естественным следствием всего исторического пути, что социологи зачастую их просто игнорировали. Вместо этого они предпочитали анализировать либо действия конкретных лиц, либо роль формальных политических институтов в настоящем и в прошлом. Даже традиционный вывод о якобы слабом соци-

альном капитале россиян и общем дефиците доверия обычно строится не на представлении о характере общества как такового; куда чаще низкий уровень социального капитала объясняют политическим выбором, который в определенные моменты совершали элиты, главным образом, в течение XX столетия.

Я не буду обсуждать вопрос о причине подобных дисциплинарных и методологических предпочтений: являются ли они продуктом чисто интеллектуального выбора или продиктованы соображениями политической корректности. Множество социологических исследований последних лет, выполненных в России или ей посвященных, превосходны и весьма информативны. Я бы не стал также утверждать, что российскому обществу не уделяют (или уделяют недостаточно) внимания; социологи и антропологи разных направлений по-прежнему пишут очень интересные работы. Но мода на политическую науку и политэкономия означает, что в более широком контексте исследований России общество почти неизбежно становится зависимой переменной. Безусловно, политика и экономика влияют на социум. Однако в данной работе я ставлю перед собой задачу показать, что и социальные факторы могут оказывать воздействие на политику.

На первый взгляд это кажется достаточно очевидным. Переход экономического недовольства в политическую мобилизацию в Пикалёво, Забайкальске и других моногородах, а также в крупных городах, включая Владивосток и Калининград, вынудили российское правительство реагировать — действуя где-то путем кооптации, а где-то путем подавления, — хотя, по всей видимости, оно предпочло бы оставаться в стороне. Результаты региональных выборов осенью 2009 года — еще одно свидетельство того, что нельзя ожидать от населения полной политической поддержки, если правительство не выполняет взятые на себя экономические обязательства. Однако эти выборы имели еще один, возможно еще более важный результат. Они показали, что значительная доля, если не большинство, населения «голосует» за сохранение существующей системы, даже если она не слишком хорошо функционирует. Наконец, новая волна движения автомобилистов — с новой тактикой и новым руководством, но с теми же самыми требованиями — демонстрирует способность российского общества порождать и поддерживать низовые движения и даже задавать устойчивую повестку дня — по крайней мере, по некоторым вопросам. Все это противоречит тому, что мы вроде бы знаем о состоянии социального капитала и доверия.

Но эти примеры слишком очевидны. Вопрос, который я хочу здесь рассмотреть, можно сформулировать так: идут ли сейчас в России какие-либо фундаментальные социальные процессы, которые могли бы воздействовать на эволюцию российского государства, и если да, то как это могло бы проявиться в ближайшие десять лет? Ниже я в общих чертах обрисую «четыре с половиной», на мой взгляд, важнейших феномена, а затем представлю два основных возможных сценария развития. Один из них инерционный (но не статичный!), предусматриваю-

щий продолжение нынешних тенденций, а другой предполагает некоторые важные изменения, которые могут в перспективе ближайшего десятилетия создать возможность для развития общества и отношений между обществом и государством по нормативно «более оптимистическому» пути.

«Четыре с половиной» ключевых социальных феномена

Прежде чем приступить к рассмотрению тех «четырех с половиной» важнейших социальных феноменов, которые, как я утверждаю, будут формировать будущее России, я хотел бы изложить два базовых тезиса, на которых строится мое понимание российского общества. Первый касается деинституционализации: Россия не то чтобы вовсе не имеет социальных институтов, но — близко к этому. Здесь я исхожу из социологического определения института как совокупности укорененных правил и норм, управляющих поведением людей или групп людей, которая позволяет с достаточной точностью предсказывать реакцию на то или иное воздействие. Поэтому, говоря, что в России практически отсутствуют институты, я не рассматриваю все те бесчисленные учреждения, которые существуют на бумаге, располагаются в солидных зданиях и обеспечены бюджетами различной степени щедрости. Напротив, я подчеркиваю тот факт, что ни один из этих «бумажных» институтов — будь то право в целом, государственный аппарат, система высшего образования или Русская православная церковь — не позволяет российским гражданам с достаточной точностью прогнозировать, как будет происходить то или иное конкретное социальное взаимодействие или взаимодействие между обществом и государством. Кроме того, за частичным исключением Северного Кавказа и других давно сложившихся этнических сообществ в Поволжье и на Урале, в Сибири и на Крайнем Севере,

советский строй, а также тяжелые процессы, сопровождавшие ранний период посткоммунистического развития, привели к разрушению каких бы то ни было «горизонтальных» социальных институтов, существовавших в прошлом — религиозных, этнических, племенных, региональных, кланово-семейных и иных.

Второй тезис вытекает из первого: в деинституционализированной среде очень высоко ценится определенность, и баланс между определенностью и неопределенностью становится важнейшей ценностью при любом социальном взаимодействии. Это увеличивает относительное доверие к тем людям, которых можно считать *нашими*, или *своими*, и снижает доверие к тем, которые могут восприниматься как *чужие*, *другие* (при этом общий ресурс доверия может оставаться практически неизменным). Тому, кто в силу своего статуса или положения может генерировать неопределенность и управлять ею, это обеспечивает огромную власть². В результате катастрофически снижается желание рисковать.

Этот последний тезис относительно риска напрямую выводит нас к первому из «четырех с половиной» ключевых феноменов. В рассуждениях о российской политике (и особенно о российском гражданском обществе и гражданских движениях) весьма популярен миф о том, что россияне пассивны. Это неверно: россияне агрессивно неподвижны. Это вполне содержательное различие. Пассивных людей может быть трудно увлечь, но их можно относительно легко подтолкнуть. Агрессивно неподвижных людей трудно сдвинуть с места в принципе, именно потому, что их неподвижность является рационально обоснованной стратегией. В среде, где отсутствуют социальные институты, мало (или даже вообще нет) проторенных и воспроизводимых путей к успеху. Поэтому относительные комфорт и благополучие,

которых может достичь российский гражданин, являются результатом исключительного, уникального стечения обстоятельств, связанного только со способностью данного человека справиться с окружающей ее (или его) неопределенностью. (Порядок местоимения здесь не случаен; женщины в России в среднем значительно лучше справляются с обстоятельствами, чем мужчины.) В этих условиях любые перемены таят в себе угрозу разрушить достигнутое — тогда придется вновь начинать все сначала и заново преодолевать неопределенность, а это совершенно непривлекательная перспектива. Описанная картина верна и на микро- и на макроуровне. Жители умирающих городов, таких как Пикалёво, не хотят уезжать не потому, что надеются на улучшение, а потому, что у них нет никакой уверенности, что они смогут сориентироваться в новом хитросплетении бюрократических и иных формальных и неформальных отношений на новом месте. Точно так же российские граждане выступают против реформ, направленных на либерализацию и демократизацию, не потому, что им по душе монополизированная политика и экономика, которая имеет место сегодня. Причина в том, что любые масштабные изменения грозят им утратой уже имеющихся достижений, которые зиждутся на очень хрупких, неглубоких основаниях.

Второй феномен — это специфическая форма «ресурсного проклятия», характерная для России: вместо прямой подпитки репрессивного режима (вариант Мьянмы) или авторитарного популизма (вариант Венесуэлы), в России изобилие природных ресурсов и связанных с ними рентных потоков служит своего рода буфером. Благодаря рентным потокам власти и население могут сосуществовать друг с другом, находясь в состоянии взаимно приемлемого «развода», который пришел на смену семи десятилетиям чрезмерно близких отношений. Часто говорят, что в

эру Путина «социальный контракт» в России по умолчанию состоит в том, что население в обмен на экономический рост соглашается не вмешиваться в политику. Я бы немного изменил эту формулировку: молчаливый социальный контракт, если таковой существует, предоставляет обеим сторонам максимальную автономию при условии, что ни одна из них всерьез не посягает на интересы и комфорт другой стороны. Эта в принципе непрочная договоренность напоминает развод по-советски, когда разведенные супруги были вынуждены жить в одной квартире:

стали расти, началась ползучая приватизация общего достояния³. Это не только дороги, которые, по-видимому, превратились в частные владения элиты (иногда вместе с жизнями тех, кто на них находится). Московские тротуары и дворы непрерывно «приватизируются»: всякий, кому понадобилось припарковать автомобиль, относится к ним как к своей собственности. Общественные природные заповедники превращаются в частные охотничьи угодья любого лица, имеющего в своем распоряжении вертолет, а леса страны захламлены мусором от бесчисленных пик-

“В рассуждениях о российской политике весьма популярен миф о том, что россияне пассивны. Это неверно: россияне **агрессивно неподвижны”.**

в таких условиях трения неизбежны. Нефть, газ и связанный с ними экономический рост отчасти их смягчают, но степень отчуждения друг от друга все же имеет свои пределы. Необходимость функционирования в общем пространстве наиболее очевидна на российских дорогах, где представители элиты и обычные граждане оказываются по разные стороны почти институционализированного беззакония: для элиты не существует никаких запретов, а обычным людям некуда обратиться за защитой.

Третий феномен — это нарастание взаимного раздражения. Чем больше элита и не-элита кристаллизуются и защищают свои собственные индивидуальные достижения — будь то бронированный автомобиль и кортеж сопровождения или скромный участок земли (за высоким забором), — тем ближе неизбежный конфликт. Упрочение частного пространства в ущерб общественному, то, что Майкл Буравой назвал «инволюцией», помогло людям преодолеть тяготы переходного периода, но по мере того, как жизнь в России вошла в новую «норму» и аппетиты снова

ников, как будто сам лес является предметом одноразового пользования. Оттого что в общих социальных пространствах России неуклонно распространяются правила элитного и массового частного поведения, все участники этого процесса испытывают раздражение, поскольку каждый из них видит, что другие поступают так же, как он, но при этом их поведение противоречит его личным интересам. Естественной реакцией на это является попытка распространить — при наличии соответствующих возможностей — действие декларируемых (но не соблюдаемых) социальных норм на других. Однако в отсутствие действующих социальных и социально-политических институтов подобная попытка обречена на неудачу и может лишь усугубить раздражение.

Четвертый феномен — это относительно новый механизм преодоления феноменов 2 и 3, который я бы назвал «индивидуальной модернизацией». Процесс глобализации (под которым я подразумеваю не столько торговую и экономическую взаимозависимость, сколько формирование глобальных коммуни-

каций и глобальной культуры) открывает возможности, которые были недоступны диссидентам советской эпохи. Конечно, получение доступа во внешний мир с помощью запрещенных радиопередач или чтения самиздата играло важную роль в противостоянии советскому режиму и формировании автономного морального пространства вне его идеологических границ, даже при том, что сами люди оставались в его географических пределах. Но отмена цензуры, открытие границ и все более широкая доступность Интернета и других коммуникационных технологий

представителей страны. Но с другой стороны, в результате значительно снижается вероятность того, что эти самые, наиболее продвинутые граждане захотят приложить усилия и внести свой личный вклад в дело модернизации социального пространства в собственной стране.

Наконец, есть еще «полфеномена», который располагается где-то между только что описанными феноменами 3 и 4, и заключается он в том, что, несмотря на все недостатки нынешней системы социальных и политических отношений, у нее есть свои сторонники.

“Снижается вероятность того, что наиболее продвинутые граждане захотят внести свой вклад в дело модернизации социального пространства в собственной стране”.

привели к тому, что в современной России стремительно развиваются индивидуальные стратегии формирования идентичности. В Москве, и не только здесь, можно найти приверженцев любых веяний моды, направлений научной мысли, политических и социальных пристрастий и экономических идей, существующих в мире в целом. Молодые, образованные, динамичные и мобильные россияне, как и многие их соотечественники постарше, чувствуют себя частью глобальной среды, пожалуй, не в меньшей степени, чем локальной. Так же обстоит дело и во многих других странах, но в российском контексте деинституционализации, взаимного отчуждения государства и общества и постоянных напряжений в общественном пространстве это приобретает особое значение: оставаясь физически в России, россияне могут социально, политически и интеллектуально действовать вне российского пространства. Последствия этого противоречивы. С одной стороны, это открывает возможности чрезвычайно широкой либерализации для значительного числа самых продвинутых

Речь идет не только об элите и близких к ней людях, которые максимизируют выгоду из своего положения, систематически генерируя неопределенность и манипулируя ею. Даже те, кто ничего не выигрывает от «социального контракта», способствуют сохранению нынешней системы отношений. Свидетельством тому может служить, например, обращение группы учителей из подмосковного Воскресенска к президенту Дмитрию Медведеву в июне 2010 года. Учителя, которые были членами избирательных комиссий во время муниципальных выборов в октябре 2009-го, оказались в центре расследования фальсификации результатов этих выборов. По их собственному признанию, они действительно участвовали в фальсификации. Но в своем письме учителя просили Медведева не устранить допущенные нарушения, а вмешаться с тем, чтобы избавить их от судебного преследования. Говоря о сотнях тысяч обычных россиян, которые, как и учителя из Воскресенска, помогли сфальсифицировать результаты выборов 2009 года, правозащитник Сергей

Ковалёв сказал: «Ложь перестала быть средством обмана. Ложь теперь некоторый ритуал. Ритуал верности, патриотизма, если хотите»⁴. Возможно, это преувеличение: вряд ли учителя из Воскресенска действовали исходя из высокого патриотизма; более вероятно, что за отказ от сотрудничества им пригрозили увольнением или как минимум уменьшением оплаты. Но очевидно, что вместо того, чтобы попытаться защитить свои интересы, сотрудничая со следствием в деле установления истины, они предпочли искать спасение во лжи. Тут мы имеем дело с более глубокой степенью кооптации, чем у тех, кто вступает в ряды «Наших» или других прокремлевских молодежных объединений за поездку на Селигер или оплату мобильной связи. Эти молодые люди руководствуются сиюминутным интересом, тогда как у учителей — это продуманный расчет.

Как политика вырастает из общества

Когда мы говорим о государствах и обществах (а значит, и о политике), мы чаще всего подразумеваем стандартное веберовское определение государства, главным элементом которого является монополизация легитимного насилия. В этой трактовке государство почти всегда выступает как активная сторона, стремящаяся установить и максимизировать свою власть, в то время как функция общества сводится в лучшем случае к сопротивлению этой власти или, напротив, к согласию с ней. Иными словами, общество легитимирует монополию государства на силовое принуждение. Толкотт Парсонс, предложивший «системный» подход», идет несколько дальше: он пытается объяснить сложные взаимосвязи между политическими и общественными акторами и институтами, которые лежат в основе отношений между обществом и государством. Парсонс, однако, подвергся резкой критике за телеологическое допущение, будто некоторые системы

уже развиты, а другие только развиваются, но при этом все траектории ведут к одной и той же конечной точке (читай — западной системе).

В данной статье представлена несколько иная концепция, предложенная Джоэлом Мигдалом, под названием «Государство в обществе». Мигдал исходит из того, что государство, вообще говоря, вырастает из общества и является производной от того самого общества, которым оно претендует управлять. Мигдал делает акцент на «процессах продолжающейся борьбы между изменчивыми коалициями вокруг правил повседневного поведения»:

«Эти процессы определяют, как общества и государства вырабатывают и закрепляют различные способы структурирования повседневной жизни — они формируют характер правил, которые управляют человеческим поведением; кому они приносят пользу, а кого ставят в невыгодное положение; какого рода элементы объединяют людей, а какие их разделяют, что общего в представлениях людей об их отношениях с другими и об их месте в мире. Эти же процессы определяют то, каким образом ставятся под сомнение и изменяются правила и модели доминирования и подчинения»⁵.

Мигдал, в свою очередь, во многом опирается на концепцию сообщества, выдвинутую Эдвардом Шилзом. Шилз, в частности, пишет:

«Сообщество — это не просто группа конкретных частных лиц; если смотреть глубже, это группа лиц, обретающих свою значимость постольку, поскольку они воплощают ценности, которые коренятся вне пределов личностей, и соблюдают стандарты и правила, благодаря которым они обретают свое достоинство»⁶.

По Мигдалу, именно этот процесс создания сообществ в конечном счете и лежит в основе формирования государств. Определяющие аспекты этих взаимодействий особенно заметны в условиях быстрых социальных, политических и экономических изменений, как, например, в случае России. Можно ожидать, что гражданам (как индивидуально, так и коллективно) в такой среде будет трудно сформировать некие общие правила поведения и, следовательно, общие ценности, которые приводят к образованию сообщества. Мигдал пишет:

«Когда среда фрагментированна и в ней много непроявленного, людям приходится реагировать на ограничения и возможности, создаваемые не одной, но сразу многими организациями. Некоторые из этих организаций мирно сосуществуют друг с другом, другие активно борются за то, какими именно должны быть правила игры. Таким образом, люди живут в разных социальных мирах, часто не связанных между собой, и сталкиваются с тем, что разные организации предлагают противоречащие друг другу ценности и способы поведения. Модели, которые предполагают наличие некоей фундаментальной общности, лежащей в основе действий, чувств и мыслей, не годятся для объяснения разнообразия стратегий, используемых теми, кто вынужден функционировать в условиях таких гетерогенных организационных структур»⁷.

Описанные выше «четыре с половиной» феномена показывают, как эта дилемма реализуется в России. С разрушением общественного пространства, сглаживанием иерархий, определявших взаимодействия в советскую эпоху, и демонтажом институтов, которые обеспечивали определенность социальной жизни в СССР, граждане из всех

социальных слоев ушли из общественного пространства, укрепили свои частные пространства, а затем включились в приватизацию общего достояния. Эта поразительная девальвация «сообщности» постоянно усугубляется, поскольку показывает всем участникам, что их стратегии оправданны и корректны — именно в силу того, что стратегии всех остальных, с одной стороны, не отличаются от твоих собственных (поскольку все они порождены индивидуализмом), а с другой — несут в себе угрозу (поскольку отрицают коллективное).

Но это не означает, что у россиян нет никаких ценностей. С исчезновением массовых социальных институтов граждане и элиты в равной мере повернулись к тем из них, что еще продолжали существовать. Так, частные связи, семейные, дружеские, клановые, этнические и чиновные общности являются более ценными, чем другие институты, в частности, правовые, которые могли бы продвигать более универсальные ценности. Превосходный пример таких процессов приводится в антропологическом исследовании Дэвида Андерсона. На материале изучения некоего сообщества, расположенного в сибирской глуши, Андерсон обнаружил «многочисленные примеры институтов, которые по-настоящему связывают гражданские, политические и экономические интересы». Ему удалось их найти в значительной степени потому, что он основывался не на формальных «дифференцированных» категориях, которые фигурируют в основной массе работ по гражданскому обществу, а скорее наблюдал повседневную жизнь избранного им населенного пункта⁸. Эти институты, однако, весьма специфичны и соответствуют либо этническим особенностям, либо уникальным местным экономическим и социальным условиям. Таким образом, проблема России состоит в том, чтобы каким-то образом собрать воедино доверие, генерируемое такими

институтами, и облечь его в формы, которые можно распространять и воспроизводить на общенациональном уровне.

Можно утверждать (и подобные утверждения делались ранее), что расширить масштабы доверия не удастся из-за проблемы с ценностями, иными словами, причина заключена в особенностях культуры. Это, в свою очередь, означало бы, что проблема дефицита доверия связана не с нынешней политической системой, а уходит корнями гораздо глубже. Поскольку задача этой статьи состоит в том, чтобы представить

валяется сильнее и продолжает доминировать. Но именно из-за этого фундаментального и неустранимого разногласия аргументация «исторического пути» не представляет (или почти не представляет) ценности для объяснения идущих в России процессов. Когда сегодняшние россияне сталкиваются с проблемами социальных взаимодействий, они имеют дело одновременно и с господством старого, и провалом нового, и при этом одно невозможно отделить от другого. Таким образом, если мы хотим понять, что именно оказывает влияние на принятие решений в

“Граждане из всех слоев общества ушли из общественного пространства, укрепили свои частные пространства, а затем включились в приватизацию общего достояния”.

себе – пусть и очень приблизительно – картину будущего, мы должны проанализировать утверждение, что будущее определяется прошлым. Наиболее систематическая аргументация в пользу того, что развитие России определяется предшествующей исторической траекторией (*path dependency*), была предложена Олегом Хархординым, Юрием Афанасьевым и Ричардом Пайпсом. Независимо друг от друга они утверждают, что православная церковь и абсолютистские и патримониальные модели социальных взаимодействий «уходят корнями в неспособность российской государственности развиваться от частного к общественным институтам» (так пишет Пайпс) и, таким образом, порождают не консолидацию общества, а, по выражению Хархордина, диффузию гражданской жизни. Относительно источника таких «архаичных» тенденций идут споры; например, Хархордин и некоторые другие полагают, что доминирование старого есть результат провала нового, в то время как Афанасьев утверждает, что новое терпит неудачу именно из-за того, что старое оказы-

сфере социальных взаимодействий, то надо иметь в виду, что ни одно из этих явлений не служит причиной другого. Иными словами, российские граждане в своих решениях неизбежно исходят из факторов, действующих здесь и сейчас, и получается так, что именно эта сиюминутность придает смысл прошлому и формирует будущее.

Понятие сиюминутности, разумеется, является ключевым в теории игр. Эта теория моделирует поведение человека в социальных условиях, вынуждающих его быстро находить разрешение возникающих перед ним дилемм на основе однозначной оценки прошлого опыта и будущих последствий. Маргарет Леви, применяющая теорию игр к изучению политических процессов, использует ее понятийный аппарат для анализа отношений между обществом и государством. Леви утверждает, что, сталкиваясь с требованиями государства, граждане реализуют так называемое «условное согласие» (*contingent consent*), которое, в нашем толковании, представляет собой отражение правил, установленных или принятых обще-

ствами. Склонность к согласию, в трактовке Леви, усиливается пропорционально тому, насколько «граждане чувствуют, что правительство заслуживает доверия», «доле других соглашающихся граждан» и способности «граждан получать информацию, подтверждающую» два предшествующих фактора⁹.

Следуя Леви, Чарльз Тилли задается вопросом: «как члены доверительных сетей (*trust network*) защищают себя и свои ресурсы от разграбления». Этот вопрос особенно актуален для России, где рейдерство стало доминирующей стратегией некоторых элитных групп. Ответ он находит путем широкого сравнительного исследования — защиту обеспечивает сочетание трех стратегий: «стратегия *скрытности* укрепляет границу между “своими” и посторонними путем утаивания и обмана. Стратегия отношений *клиент–патрон*... строится на покровительстве некоего обладающего властью патрона, который обеспечивает, обычно за весьма приличную мзду, защиту от других потенциальных грабителей. *Притворство* предполагает некоторый, минимально необходимый уровень согласия с требованиями и инструкциями правителей, чтобы избежать жесткого контроля и экспроприации»¹⁰.

По сути, все эти стратегии представляют собой бегство от политики, потому что в системе, где они практикуются, политика — это игры хищников. Иными словами, то, что мы наблюдаем в России, можно интерпретировать как естественную реакцию и на правила поведения, работающие против сообщества и способствующие авторитаризму, и на способы реализации этого авторитарного правления. В таких условиях демократизация может быть описана как реинтеграция граждан в политику путем восстановления значимого политического сообщества:

«В той степени, в которой люди встраивают свои доверительные сети в публичную политику, они начинают хотя бы отчасти рассчитывать на эффективность государственного управления для поддержания этих сетей. Они также получают влияние, как индивидуальное, так и коллективное, благодаря своему участию в доверительных сетях, которые, в свою очередь, опосредуют связи с государством... У них возникает постоянная заинтересованность в качестве государственного управления. Ставки в политической игре приобретают ценность. Уплата налогов, покупка государственных ценных бумаг, передача частной информации официальным органам, возможность рассчитывать на получение от государства законных льгот, предоставление государству права рекрутировать членов сообщества на военную службу — все это закрепляет заинтересованность в качественной работе государства и стимулирует активное участие в переговорах об условиях исполнения государственных обязательств»¹¹.

Итак, предположение, будто правила выводятся из ценностей, на которое опираются многие приверженцы нормативной и «исторический» теории, на наш взгляд, является ошибочным. На самом деле все наоборот: правила пишутся для того, чтобы сделать взаимодействие людей более эффективным и предсказуемым (по крайней мере, для тех, кто пишет правила). Со временем, когда они оказываются достаточно выгодными для достаточно большой (или достаточно влиятельной) группы людей в сообществе, они трансформируются в ценности. Заключительный раздел данной статьи мы посвятим обсуждению вопроса о том, какие факторы в России могли бы способствовать переходу от господства индивидуального к коллективным ценностям.

Россия-2020: сценарии будущего

Если смотреть из той точки, в которой мы находимся сегодня, будущее развитие может происходить по одному из двух сценариев. Первый – инерционный, в рамках которого нынешние тенденции будут продолжать действовать, пока не приведут к открытому кризису; и второй, который предусматривает изменение некоторых ключевых факторов и движение по более оптимистическому пути. Я начну с первого, который буду считать базовым. Слово «инерционный», однако, не означает «статичный»: социальные процессы не могут просто стоять на месте, и невозможно себе представить, чтобы в ближайшие десять лет не произошло никаких изменений. Скорее всего, изменения будут, и даже существенные.

В рамках инерционного сценария сохраняются все описанные выше феномены: агрессивная неподвижность, отчуждение между государством и обществом, нарастание социальных трений, рост индивидуальной модернизации и наличие консервативного электората, готового отстаивать статус-кво. По мере того, как ретроградный государственный аппарат будет становиться все менее эффективным, а сохранение политической и экономической монополии сведет и без того низкий экономический рост почти к нулю, социальные трения будут усугубляться, и государству станет все труднее поддерживать удобное для него состояние отчуждения от собственных граждан.

В какой-то мере мы уже сейчас можем наблюдать развертывание этого сценария. В националистических протестах, вспыхнувших в Москве в декабре 2010 года, проявились практически все феномены, описанные выше. На Манежной площади собрались сотни и тысячи протестующих, среди которых многие ощущают себя жертвами маргинализации и относительной обездоленности, поскольку экономическое процветание,

столь явно бросающееся в глаза в столице, для них остается недоступным. Они яростно выдвинулись в общественное пространство, заявляя свое право на долю в общем достоянии. Власти их полностью проигнорировали. Президент Дмитрий Медведев сначала сообщил в Твиттере о своих впечатлениях в связи с концертом Элтона Джона и только потом упомянул о волнениях в центре столицы, добавив расплывчатое обещание, что виновные будут наказаны. Премьер-министр Владимир Путин в течение нескольких дней практически хранил молчание по этому поводу. Однако в конце концов власти все-таки не смогли остаться на позициях самоустранения: против протестующих были использованы силы ОМОНа и предприняты политические действия.

Однако из происшедших событий можно сделать и более широкий вывод: общее достояние, как и природа, не терпит пустоты. Люди, будь то обычные граждане или элита, могут временно пребывать в заблуждении, будто территория, расположенная между их частными пространствами, – улицы, по которым они ездят, метро, которым они пользуются, площади, по которым они прогуливаются, – пустая, безвоздушная и беззвучная, но на самом деле это не так. Появление протестующих на улицах и в метро, повсеместная, но обычно невидимая угроза насилия и персонального ущерба, вкупе с отсутствием доверия к источникам информации, на какое-то время превратили общественное пространство в джунгли, в дикое поле, где жизнь по-гоббсовски «мерзкая, жестокая и короткая». И пока сами протестующие не разошлись по домам, ни у кого – ни у общества, ни у государства – не оказалось ресурсов, необходимых для восстановления порядка.

Вернемся к сценарию: нарастание напряженности в конечном счете подталкивает государство к тому, чтобы более активно выстраивать отношения с обществом –

сначала устанавливая правила для защиты привилегий элиты, а потом регулируя социальные отношения, чтобы поддерживать стабильность. Но поскольку внутри самого государства ничто не меняется — активный консервативный электорат достаточно силен, чтобы преодолеть любое давление со стороны более творческих и предприимчивых социальных групп, чьи политические связи с Россией становятся все слабее, — в результате происходит не деприватизация, а реприватизация общего пространства. Таким образом, люди, не относящиеся к элите, сначала, во имя гармонии и стабильности, выталкиваются из общего пространства, а затем постепенно оказываются от него полностью отрезаны, поскольку «захваченное» государство перераспределяет выгоды от общественного пространства в пользу элиты.

Но разве нельзя представить себе, что российские граждане, видя, как общее пространство все в большей степени оккупировано элитой, в конце концов начнут действовать и потребуют изменений, как это сделали тунисцы и египтяне в январе–феврале 2011 года? Теоретически — можно. Неспособность россиян (а в действительности — граждан слаборазвитых стран во всем мире) осознать «достаточную» ценность общего достояния часто объясняется бедностью, которая в теории побуждает человека ставить частные материальные интересы выше универсальных и эфемерных. К сожалению, бедность (или более широко — обездоленность) в России и ее воздействие на участие граждан в политике изучены недостаточно; для обоснованных выводов не хватает точных научных данных. Однако исследование, проведенное в Индии, показало, что нет прямой корреляции между бедностью и отсутствием спроса на демократию, а также уровнем «политической эффективности и... участия в политике». Зато имеет место значимая корреляция спроса на демократию с уровнями

образования, информированности, социального капитала и доступа к политическому участию, чиновникам, органам власти и институтам власти. Аналогичные результаты были получены в странах Африки и других частях Южной Азии¹². События начала 2011 года в Северной Африке подтверждают достоверность этих результатов.

Однако все не так просто. Восстание снизу вызовет реакцию сверху. Действительно, как утверждает Адам Пшеворский, проблема соотношения бедности и демократии — это не проблема бедных, а проблема богатых:

«Все более широкое политическое участие бедных представляет угрозу для демократии только в ситуациях, когда элиты, опасаясь радикального перераспределения благ, склоняются к отказу от демократии. Для самих бедных демократия, возможно, единственное эффективное средство для получения желаемого. Однако если они действуют слишком решительно, они могут потерять даже этот шанс»¹³.

Ситуация, которая сложилась в России, почти в точности соответствует описанию Пшеворского. Можно ожидать, что медленно развивающийся кризис будет способствовать расколу элит: те группы, которые в меньшей степени уверены в будущем, будут либо выходить из системы, либо добиваться постепенных изменений, подобно тому, как это делало так называемое «поколение шестидесятников» в СССР, сначала воодушевленное хрущёвской оттепелью, а затем разочарованное брежневским застоём. Но подобные валютные политические процессы с точки зрения масс будут выглядеть как инерция (что, в общем, соответствует действительности), и в случае массового протестного движения его участники не станут делать различий между более и менее консервативными членами старой гвардии (в 1990-е годы российское

общество уже попыталось провести такое различие, но сегодня подавляющее большинство россиян твердо убеждено, что это было совершенно бессмысленно). В результате элита снова консолидируется (возможно, за вычетом ее незначительной части, которая дезертирует с корабля) для защиты своего статуса и привилегий и для противостояния мобилизованным группам общества, исход которого предсказать очень трудно.

Таким образом, данный сценарий представляет собой доведенное до предела отчуждение, с последующим конфликтом

половиной» ключевых социальных феномена остаются без изменения, но с одним решающим отличием. В начале второго десятилетия XXI века, скажем, в 2011-м или в 2012 году, российское правительство, столкнувшись с нарастанием социального (а в действительности внутриэлитного) напряжения на фоне безуспешных попыток добиться стабильного роста экономики, возьмет курс на максимальную экономическую интеграцию с Западом, особенно с Европейским союзом, и ЕС пойдет ей навстречу. Россия вступит во Всемирную торговую организацию, заключит

“Активный консервативный электорат достаточно силен, чтобы преодолеть любое давление со стороны более творческих и предприимчивых социальных групп”.

и втягиванием государства в бесполезное и контрпродуктивное авторитарное взаимодействие с обществом. В результате к 2020 году Россия превращается в сильно раздробленное политическое и социальное пространство с застойной экономикой и крайне низким уровнем идентификации россиян с государством, гражданами которого они формально являются. Но из-за вышеупомянутой агрессивной неподвижности как масс, так и элиты единственный путь выхода из этой ситуации пролегает через глубокий и длительный кризис: для того, чтобы изменение показалось желанной перспективой, удар по индивидуальному благополучию граждан должен быть сокрушительным. Однако поскольку изменения будут происходить в атмосфере политического отчуждения, отсутствия подлинной общественной сферы и отсутствия легитимных и укорененных горизонтальных социальных институтов, вероятность того, что перемены окажутся демократическими, очень мала.

Второй, более «оптимистический» сценарий тоже исходит из того, что все «четыре с

с ЕС договор о свободе инвестиций и торговли, отменит визы для граждан ЕС, а ее граждане получают право ездить без виз в Европу. Со временем все большее число российских граждан станет использовать обретенный беспрепятственный доступ в европейское пространство и формировать институционализированные отношения и стратегии для обучения, предпринимательства, инвестиций, а также для других целей, тем самым компенсируя отсутствие институтов в собственной стране.

Люди, стремящиеся к активной деятельности в самых разных сферах, будь то бизнес, образование, научные исследования и даже государственное управление, не испытывают недостатка в хороших идеях. Чего им действительно не хватает, так это институциональной среды, в которой вложение капитала в осуществление этих идей в самой России было бы перспективным делом. Этот «дефицит» не компенсируется поддержкой проекта «Сколково» и других официальных проектов «модернизации». Нет никаких оснований полагать, что новые институты, созданные

в России под лозунгом модернизации, будут по своей сути отличаться от тех, что уже существуют — и допускают извращение законов и манипулирование ими, наделяя чиновников практически неограниченной властью и лишая гражданских прав обычных россиян.

До сих пор проблема «демократизации» России рассматривалась, главным образом, с точки зрения того, кто может стать потенциальным стейкхолдером новых институтов и как можно попытаться мобилизовать их для преобразования существующих институтов. Недостаток этой концепции состоит в игнорировании важнейшего факта: у существующих институтов уже есть свои собственные стейкхолдеры, которые, в отличие от потенциальных стейкхолдеров пока не созданных институтов, уже обладают значительной властью. Однако при снижении барьеров для *индивидуальной* интеграции россиян, живущих в России, в европейское институциональное пространство они могли бы становиться стейкхолдерами европейских институтов. Некоторые россияне уже сейчас обращаются в лондонские суды для разрешения коммерческих споров и в Страсбургский суд для защиты своих прав. Российские бизнесмены активно пользуются европейской финансовой системой. Кроме того, и представители элиты, и другие достаточно обеспеченные граждане пользуются европейской инфраструктурой образования, здравоохранения и отдыха.

Конкретные формы в значительной степени будут зависеть от творческого потенциала тех, кто определяет политику Европы. Но если все большее число россиян, и прежде всего бизнесмены и ученые, обладающие возможностями для инициирования изменений дома, в России, получают преимущество в виде доступа к стабильным, удобным и простым в использовании европейским юридическим и другим институциональным структурам для поддержки

капиталовложений в их собственные идеи и стратегии, это будет иметь два важных следствия внутри страны. Во-первых, благодаря этому представители среднего класса России, интегрированные в глобальный мир и имеющие широкие международные связи, смогут упрочить собственное благополучие и приобрести больше влияния (члены российской элиты России, интегрированные в глобальный мир, уже и так богаты и сильны) по сравнению с консервативным большинством. В результате это будет способствовать их постепенному выходу из описанного выше состояния агрессивной неподвижности. Важно, что интегрированные граждане таким образом получают для своего благополучия институциональную базу, которой не имеют неинтегрированные граждане, что позволит повысить привлекательность интеграции для других групп населения и указать реалистичный, достижимый и, что очень важно, институционализированный путь к достижению успеха.

Вторым важным следствием стала бы возможность привлечь больше внимания к упущенной выгоде, к тем потерям, которые эти самые интегрированные граждане несут из-за того, что в России отсутствуют эффективные институты. Даже в случае снижения барьеров для интеграции с Европой транзакционные издержки, связанные с использованием европейских институтов, все равно будут выше, чем при использовании аналогичных отечественных институтов — если бы они существовали в России. В результате стал бы расти запрос на институциональные реформы и гармонизацию институтов, причем эти требования не носили бы открыто политический характер, но могли бы породить у россиян интерес к общему достоянию и, таким образом, к «со-общности». Тем самым российские граждане увидели бы, что интерес к общественному благу разделяется многими.

Вкупе это могло бы привести к формированию консолидированной коалиции за перемены, которая стала бы постепенно втягивать ретроградное и сопротивляющееся (но не готовое к насильственным решениям) государство в модернизацию. Это будет трудная доро-

га, и к 2020 году она не будет пройдена, но если Россия и ее партнеры открыты для интеграции — и если мы откажемся от привычной логики, будто демократизация является необходимым условием интеграции, — инерцию, быть может, все-таки удастся преодолеть. ■

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ См., например, недавно опубликованный обширный коллективный труд: *Democracy and Authoritarianism in the Postcommunist World* / V. Bunce, M. McFaul, K. Stoner-Weiss (eds) (Cambridge Univ. Press, 2010), посвященный политическому транзиту: из 12-ти глав только в одной говорится собственно об обществе, да и в той, написанной Цветой Петровой, речь идет о Болгарии.

² На системный характер манипулирования соблюдением и несоблюдением правил обращает внимание Кирилл Рогов. См.: *Рогов К. Режим мягких правовых ограничений: природа и последствия*. 2010. 22 июля (<http://www.inliberty.ru/blog/krogov/2471>). Его анализ созвучен некоторым соображениям автора.

³ *Burawoy M., Krotov P., Lytkina T. Involution and destitution in capitalist Russia // Ethnography. Vol. 1. No. 1. July 2000. P. 43–69.*

⁴ Передача «Дым Отечества» на Радиостанции «Эхо Москвы» 22 декабря 2009 года. Стенограмму см.: <http://www.echo.msk.ru/programs/smoke/642304-echo/>

⁵ *Migdal J. State in Society*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001. P. 11.

⁶ *Shils E. Center and Periphery: Essays in Macrosociology*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1975. P. 138. Цит. по: *Migdal J. Op. cit.* P. 6.

⁷ *Migdal J. Op. cit.* P. 190.

⁸ *Anderson D. G. Bringing Civil Society to an Uncivilised Place // Civil Society: Challenging Western Models* / C. Hann, E. Dunn (eds). L.: Routledge, 1996. P. 115.

⁹ *Levi M. Consent, Dissent, and Patriotism*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997. P. 21. Цит. по: *Tilly C. Trust and Rule*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. P. 19.

¹⁰ *Tilly C. Op. cit.* P. 83–84.

¹¹ *Ibid.* P. 135.

¹² *Krishna A. Do Poor People Care Less for Democracy? // Poverty, Participation, and Democracy* / A. Krishna (ed.). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008. P. 92.

¹³ *Przeworski A. The Poor and the Viability of Democracy. // Poverty, Participation, and Democracy*. P. 126.